

A portrait of Nikolai Chernyshevsky, a Russian philosopher, writer, and revolutionary. He is depicted with long, wavy brown hair, a full beard, and round spectacles. He is wearing a dark blue suit jacket over a white shirt and a dark bow tie. The background is a solid, muted yellowish-brown color.

*“Патриот —
это человек,
служащий Родине,
а Родина —
это прежде всего
народ”.*

Н.Г. Чернышевский

Николай Чернышевский

ТЕРПЕЛИВАЯ РОССИЯ

ЗАПИСКИ О ДОСТОИНСТВАХ И ПОРОКАХ РУССКОЙ НАЦИИ

Кто мы?

Николай Чернышевский
**Терпеливая Россия.
Записки о достоинствах
и пороках русской нации**

«Алисторус»

УДК 13
ББК 87

Чернышевский Н. Г.

Терпеливая Россия. Записки о достоинствах и пороках русской нации / Н. Г. Чернышевский — «Алисторус», — (Кто мы?)

ISBN 978-5-00180-608-0

«Исторические обстоятельства развили в нас добродетели чисто пассивные, как, например, долготерпение, переносливость к лишениям и всяким невзгодам. В сентиментальном отношении эти качества очень хороши, и нет сомнения, что они очень удобны для людей, пользующихся ими к своей выгоде; но для деятельности пассивные добродетели никуда не годятся», – писал Н.Г. Чернышевский. Один из самых ярких публицистов в истории России, автор знаменитого романа «Что делать?» Чернышевский много размышлял о «привычках и обстоятельствах» российской жизни, об основных чертах русской нации. Для того чтобы устранить ее «нравственные патологии» нужно изменить сами условия жизни, говорил он, имея в виду как экономические, так и политические факторы. Об этом его статьи, которые приводятся в данной книге.

УДК 13

ББК 87

ISBN 978-5-00180-608-0

© Чернышевский Н. Г.

© Алисторус

Содержание

Пролог. «Нация рабов»	6
Неужели мы так уродливо созданы?	9
«Время слепых привязанностей миновалось»	10
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Николай Чернышевский
Терпеливая Россия. Записки о
достоинствах и пороках русской нации



© Чернышевский Н.Г., 2022

© ООО «Издательство Родина», 2022

Пролог. «Нация рабов» (из романа Н.Г. Чернышевского «Пролог»)

Мы помним, как великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения».

В.И. Ленин.

«О национальной гордости великороссов»

... Волгин был угрюм потому, что им овладела грусть.

Он не был мастер наблюдать и был близорук. Но разве слепой не видел бы, что такое на душе у этих людей: не за два десятка шагов, за полверсты можно было бы разгадать это, хоть бы и не разбирая их лиц, по самым фигурам их.

Бессмыслие, бессилие, беспомощность.

Так должны глядеть, стоять, двигаться приговоренные к смерти.

Некоторые старались показывать, что они бодры, в хорошем настроении. Говорили, шутили, были очень развязны. Но огромное большинство было не в силах и заботиться скрывать свое уныние: – «Мы агнцы, обреченные на заклание. – Что мы можем сделать против такого жестокосердного решения? – Только идти на заклание смиренно, чтобы хоть не колотили нас прежде, нежели возложат нас на алтарь отечества, – и не упираться, когда станут возлагать, чтобы хоть возложили без лишних пинков».

Волгин никогда не имел сношений с этими людьми. Но какой же город или городишко не гремел славою их подвигов? Если б Волгин жил и не в Петербурге, – если б он провел эти последние полтора, два года на самом пустом из Алеутских островов, – и туда, вероятно, доносились бы до его ушей храбрые крики: «Нами держится все! – Не позволим, не допустим! – Не хотим, и не посмеют!» Теперь они присмирели, будто разбиты параличом...

Волгину было смешно: он привык обращать все в шутку, – умную или глупую, как приведется, веселую или горькую, все равно, лишь бы в шутку. Но ему не было отрадно.

Он вырос не в благородном обществе. Воспоминания его относились к жизни грубой, бедной. Ему вспоминались теперь сцены, от которых недоумевал он в детстве, потому что и в детстве он уже был глубокомыслен.

Ему вспоминалось, как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни. Чужой подумал бы: «Город в опасности, – вот, вот бросятся грабить лавки и дома, разнесут все по щепочке». Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заспанное старческое лицо с седыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый рот и не то кричит, не то стонет дряхлым хрипом:

– Скоты, чего разорались? Вот я вас!

Удалая ватага притихла, передний за заднего хоронится, – еще бы такой окрик, и разбежались бы удалые молодцы, величавшие себя «не ворами, не разбойничками, Стеньки Разина работничками», обещавшие, что как они «веслом махнут», то и «Москвой тряхнут», – разбежались бы, куда глаза глядят, куда ноги понесут, крикни еще раз инвалид в дверь будки; но старый будочник знает, что перед богом грех был бы слишком пугать удалых молодцов: лбы себе перебьют, ноги переломают, навек, бедные, искалечатся.

Будочник, понюхав табаку, говорит:

– Идите себе, ребята, с богом, только не будите меня, старика, не вводите в сердце.

И затворяется в будке, – и ватага удалых молодцов, Стеньки Разина бывших работничков, скромно идет дальше, перешептываясь, что будочник, на счастье им, видно, добрый человек.

В детстве Волгин приходил в недоумение от этих сцен, зато теперь находил, что незачем было ему и видеть живую картину, представляемую гостями Илатонцева незачем; вперед было известно, какая это будет картина.

Но хоть вперед было известно, какая она будет, все-таки она произвела на него глубокое впечатление. Будучи основательным мыслителем, он не винил себя за то, что взволновался от впечатления, к которому был готов от самого начала храбрых воплей: «Не позволим! Не допустим!» – Он знал, что представляющееся глазам действует сильнее воображаемого; потому и находил естественным, что расчувствовался.

Расчувствовался невесело: хоть и не любил ни вообще дворянства, ни магнатов в частности.

«Жалкая нация, жалкая нация! – Нация рабов, – снизу доверху, все сплошь рабы...» – думал он и хмурил брови.

* * *

Он не любил дворянства. Но бывали минуты, когда он не имел вражды к нему. Можно ли ненавидеть жалких рабов? – И теперь на него нашло такое настроение.

И потому ему мечталось теперь, что эти жалкие люди не виноваты в нищете и страданиях народа и что не было бы надобности уменьшать их доходы ни на одну копейку, – пусть бы себе благоденствовали по-прежнему, ни на одну минуту не прерывая своих возвышенных наслаждений псами и новыми каретами, попойками и цыганками, – зачем тревожить, зачем обижать? Они не виноваты ни в чем и ничему не мешают.

Они ли могут мешать? – Они хотят только пить, мотать и бездельничать. Они ли виноваты? – Кому же не приятно брать то, что ему дают, – кому же нравится терять доходы?

Как легко было бы не огорчать их! – Стоило бы только гарантировать им их доходы. Подобная гарантия тяжела, быть может неудобноисполнима у наций, где поземельный доход уже высок и не может подыматься быстро. А у нас? В пять лет удвоились бы, в десять – учетверились бы средства нации, лишь бы освобождение было полное и мгновенное, по мыслям народа, который говорит: – «Господа пусть уезжают из деревень в города и получают там жалованье», несколько лет, небольшие займы, с каждым годом меньше – и через десять лет что значило бы государству выкупить эти нынешние нищенские ренты?

Когда Волгин бывал чувствителен, он фантазировал в этом вкусе. – Правда, он не всегда бывал чувствителен.

Но теперь был. Потому фантазировал.

Правда и то, что когда фантазировал, он помнил, что только фантазирует по чувствительности своего сердца. Потому он берег для собственного удовольствия свои буколические соображения, а в разговорах рассуждал несколько в ином вкусе: он не забывал, что история – борьба, что в борьбе нежность неуместна.

Правда, он не считал себя борцом за народ: у русского народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого что русский народ не способен поддерживать вступающихся за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром?

Так или нет вообще, но о себе Волгин твердо знал, что не имеет такого глупого желания, и никак не мог считать себя защитником народных прав. Но тем меньше и мог он делать уступки за народ, тем меньше мог не выставлять прав народа во всей их полноте, когда приходилось говорить о них.

Потому-то он и улыбался с угрюмою ирониею, размышляя о том, какую буколицу строит он в пользу помещиков и как несходно с нею то, что они не имеют права ни на грош вознаграждения; а имеют ли право хоть на один вершок земли в русской стране, это должно быть решено волею народа.

Должно; и, разумеется, не будет. Тем смешнее вся эта штука.

Она была так смешна, что Волгин начинал злиться. У бессильного одно утешение – злиться. Ему противно становилось смотреть на этих людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всех своих заграбленных у народа доходах, безнаказанны за все угнетения и злодейства; – противно, обидно за справедливость, – и он опускал, опускал нахмуренные глаза к земле, чтобы не видеть врагов народа, вредить которым был бессилён...

Неужели мы так уродливо созданы?

«Время слепых привязанностей миновалось» (Из статьи «Апология сумасшедшего». Замечания о записках П.Я. Чаадаева)»

«Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я полагаю, что родине можно быть полезным только под условием ясного взгляда на вещи; я думаю, что время слепых привязанностей миновалось».

П.Я. Чаадаев

Печатаемая записка П. Я. Чаадаева, благосклонно сообщенную нам одним из его родственников, мы должны сделать несколько замечаний о ее характере и образе мыслей человека, получившего такую почтенную известность одним письмом, напечатанным лет 25 тому назад. «Апология», печатаемая нами теперь, содержит в себе объяснение этого письма, помещенного в «Телескопе» за 1836 год. Но сам «Телескоп» составляет ныне библиографическую редкость; между нынешней публикой далеко не всем удавалось прочесть статью Чаадаева, о которой так много слышал каждый. Потому полагаем, что не довольно было бы нам представить только наше мнение о направлении его знаменитого письма и что почти все читатели будут нам благодарны, если мы дадим им возможность ближе познакомиться с письмом, приведя из него отрывки.

Из некролога, помещенного г. Лонгиновым в «Современнике» 1856 года (№ 7. Смесь, стр. 5), мы знаем, что Чаадаев родился в 1793 году. Служа офицером в лейб-гусарском полку, который стоял тогда в Царском Селе, он в 1815 году познакомился с Пушкиным, на которого имел сильное влияние и которому в деле удаления его из Петербурга, в мае 1820 года, оказал важную услугу. Пушкин до конца жизни оставался его другом. Все другие благородные люди, встречавшиеся с Чаадаевым, уважали его за характер, ум и замечательную образованность. Много лет он прожил за границею, занимаясь между прочим философиею, и по возвращении на родину, в 1826 году, поселился в Москве, где до самой своей смерти (13 апреля 1856 г.) «служил, по выражению Лонгинова, посредником между людьми различных направлений. К нему съезжались, по понедельникам, почти все мыслящие люди. Искусство сблизить людей и красноречивая беседа хозяина привлекали туда всякого, кто хотя однажды посетил его».

Человек большого ума и обширных сведений, Чаадаев набрасывал иногда на бумагу мысли, его занимавшие. Но он никогда не хотел быть писателем. Ряд размышлений, из которых первое было напечатано в «Телескопе», вовсе не предназначался для печати; эти размышления были написаны по поводу разговоров Чаадаева с одной из знакомых ему дам и собственно только для нее. Потому, имея форму писем, они касаются личного положения и личных качеств дамы, к которой были адресованы, с такою же подробностью, как и общих научных вопросов. При своем сильном таланте, Чаадаев, конечно, понял бы совершенную излишность этих личных объяснений в своих письмах, если бы когда-нибудь предназначал их для публики; если бы он сам хотел их печатать, он наверное вычеркнул бы из своего первого письма многие страницы, как решительно не интересные для публики. Но письмо попало в журнал чисто случайным образом. Один из друзей Белинского (Станкевич, как мы слышали) прочел письма, данные ему частным образом, заинтересовал ими Белинского, который тогда был главным сотрудником «Телескопа». Письма были на французском языке. Чаадаева стали просить, чтобы он позволил перевести их на русский и поместить перевод в «Телескопе». Он согласился. Нам кажется, что он даже не просматривал печатаемого перевода: мы так судим потому, что есть в переводе выражения, не совсем удачно отгадывающие мысли подлинника;

без сомнения, Чаадаев поправил бы ошибки, если бы просматривал перевод. Было напечатано только одно письмо. Мы слышали, что было уже приготовлено к изданию второе, но что книжка «Телескопа», в которой оно было помещено, не вышла в свет по случаю прекращения журнала. Не знаем, верен ли этот рассказ; мы передаем, что слышали, и просим исправить неточности, если они есть в наших словах.

* * *

Первое письмо Чаадаева, бывшее причиной прекращения «Телескопа» и удаления из Москвы издателя журнала, произвело, как все рассказывают, потрясающее впечатление на тогдашнюю публику. Оно поразило всех страшным отчаянием, которое, как тогда казалось, господствует в нем. Нынешняя публика, более привыкшая к мыслям широким и неприкрашенным, едва ли почувствует такое впечатление от чтения письма. Мы в каждой книжке каждого журнала читаем ныне вещи столь же горькие, можем находить их основательными или неосновательными, но никому из нас не кажется, чтобы они дышали безнадежностью и внушались отчаянием.

Содержание письма очень просто. Чаадаев говорит, что мы не участвовали в жизни Западной Европы, потому не вошли в нашу жизнь те понятия и обычаи, на которых зиждется нынешняя европейская цивилизация. Нам нужно еще учиться всему тому, что с первых лет детства входит в жизнь западного человека. Учиться трудно и времени на это нужно много, потому людей истинно цивилизованных в нашем обществе еще мало, а господствует в нем беспорядица понятий и обычаев. Даже те немногие, которые сами по себе могут назваться цивилизованными людьми, не ведут той жизни, не имеют тех интересов, не делают тех дел, каких следовало бы ожидать от цивилизованного человека и которые составляют их собственную внутреннюю потребность. В Западной Европе этой разладицы, шаткости и скуки нет, потому что там развитое и установившееся общество поддерживает человека, дает ему средства для жизни, приличной его внутреннему развитию. У нас в обществе вы не находите никакой опоры, а видите только хаос, сбивающий вас с толку, увлекающий вас в пошлость или наводящий на вас уныние. Из этого следует, что нам надобно как можно усерднее стараться об устройении тех великих идей, которые руководят истинно цивилизованными народами и которые до сих пор еще так слабо привились.

Вот сущность мыслей, находящихся в напечатанном письме Чаадаева. Читатель согласится, что теперь в них нет ровно ничего особенно страшного. Если хотите, они и в 1836 году являлись в печати уже не в первый раз. Не говоря о других книгах и журналах, в самом «Телескопе», с самого начала, то есть около шести лет, Надеждин говорил почти то же самое, и более двух лет почти то же самое говорил Белинский. Разница была разве в том, что они высказывали такой взгляд на русскую жизнь в статьях о каких-нибудь частных предметах, а письмо Чаадаева собственно только и занималось изложением дела в его самом общем виде.

Несколько странно представляется после этого, что именно письмо Чаадаева наделало такого шума, хотя не говорило ничего неслыханного для читателей «Телескопа». Конечно, автор был человек даровитый и мысли свои излагал энергическим языком; но Надеждин и Белинский писали не хуже, если не лучше его, – за что же обратилось особенное внимание не на какую-нибудь из их статей, а на письмо Чаадаева? Очень большую роль надобно тут, как и во всех подобных вещах, приписать просто случаю. Скажите, например, за что почтенные дамы и господа называли ужасно безнравственным произведением «Евгения Онегина» и запрещали своим дочерям читать его, а вовсе не гневались на «Руслана и Людмилу», хотя в этой милой сказке соблазнительные картины гораздо ярче, чем в «Евгении Онегине»? Видно, что на роду написано человеку, книге или статье, то и будет с ними: все равно, заслуживали или не заслуживали они своей судьбы.

Но есть в письме Чаадаева особенность, которая, вероятно, способствовала этой статье возбудить особенный эффект, столь почетный и столь вредный. Человеку, не знающему наших обстоятельств, показалось бы, что эта особенность должна служить ограждением и рекомендацией для его письма во мнении тех, которые остались недовольны. Чаадаев был человек глубоко религиозный и все свои мысли подводил под точку зрения назидательного благочестия.

Каждому известно, что в IX веке западная церковь отделилась от восточной, а мы приняли христианство уже в X веке, то есть по разделении церквей⁵. Известно также, что до начала XVI века вся Западная Европа была связана единством исповеданий. Чаадаев с особенным вниманием занимался этою стороною вопроса о причинах долговременной нашей отдельности от Западной Европы. Он говорил, что Западную Европу составляли страны католические, страны чуждого нам исповедания, и большая половина его письма наполнена восторженными похвалами высокому значению христианства и сожалениями о том, что мы, русские, только называем себя христианами, а теплого христианского чувства в нас мало. Сообразно своему религиозному настроению духа, он говорил, что нам следует быть религиознее, что только благочестие сделает нас и просвещенными, и счастливыми. Но, делая благочестивые размышления главным содержанием своей беседы, Чаадаев принимал на себя звание проповедника, то есть звание, не принадлежащее светскому человеку; он произвольно присвоивал себе должность, на которую не имел права, и такое самовольство, хотя до некоторой степени извиняемое усердием, конечно, не могло быть допущено в благоустроенном обществе. Проповедником должен быть только тот, кто определен проповедником, а светский человек, не имеющий этого священного сана, не может, при всей своей надобности, говорить о священных предметах требуемым образом. Как бы ни были набожны его мысли, как бы ни были благочестивы его намерения, он неизбежно впадет в ошибки и станет вовлекать других в заблуждение, если дерзнет излагать вероучение. Чаадаев не сообразил этих правил, и их забвение, вероятно, содействовало произведению результата, который иначе был бы несколько загадочнее.

Мы не имеем ни малейшей охоты присвоивать себе звание, нам не принадлежащее, и потому при изложении письма Чаадаева не будем говорить о страницах, посвященных собственно религиозным размышлениям. Мы обратим внимание только на общественную и историческую стороны этого интересного произведения; – мы ограничиваем наш обзор этою частью его идей тем охотнее, что в ней собственно и заключается сущность взгляда, а религиозность составляет единственно облачение его.

* * *

Перевод статьи Чаадаева напечатан под заглавием «Философические письма к г-же ***.

Письмо первое». Начинается оно деликатными похвалами душевным качествам дамы, к которой адресовано, и переходит к объяснению причин, по которым она, при всех своих нравственных достоинствах, чувствует внутреннее недовольство собою и жизнью, – это зависит от состояния нашего общества, разумная жизнь которого еще очень бедна и шатка.

«В жизни есть сторона совершенно невещественная, относящаяся собственно к разумной стихии нашего бытия: этой стороною никак не должно пренебрегать. Для души есть диэтическое содержание, точно так же как и для тела; уметь подчинять ее этому содержанию необходимо. Знаю, что повторяю старую поговорку: но в нашем отечестве она имеет все достоинства новости. Это одна из самых жалких странностей нашего общественного образования, что истины, давно известные в других странах и даже у народов, во многих отношениях менее нас образованных, у нас только что открываются. И это оттого что мы никогда не шли вместе с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий, ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас. Эта дивная связь чело-

веческих идей в течение веков, эта история человеческого разума, доведшие его в других странах мира до настоящего положения, не имели на нас никакого влияния. То, что у других народов давно вошло в жизнь, для нас до сих пор есть только умствование, теория».

Вы можете замечать это на самой себе, продолжает Чаадаев: вам нечем наполнить вашу жизнь; да и все наше общество таково же, нет в нем ничего установившегося, выработанного; это происходит от нашей истории.

«Для всех народов бывает период сильной, страстной, бессознательной деятельности. Люди блуждают тогда и телом и духом. Это время великих страстей, великих ощущений. Народы движутся в то время сильно, без видимой причины; но не без пользы для будущих поколений. Все общества проходили через этот период. Он даровал им их важнейшие воспоминания, их чудесное, их поэзию, все их высшие и плодотворнейшие идеи. Он необходим для жизни общества. Без него что сохранилось бы в памяти народов, к чему могли бы они привязаться, пристраститься; без него они дорожили бы только прахом родной земли. Эта чрезвычайно занимательная эпоха в истории народов есть время их юности; время, когда способности их развиваются с наибольшею силою, время, воспоминание о котором, в возрасте возмужалом, служит им наслаждением и уроком. Мы не имеем ничего подобного. В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жесткое, унижительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и донныне. Вот горестная история нашей юности. Мы совсем не имели возраста этой безмерной деятельности, этой поэтической игры нравственных сил народа. Эпоха нашей общественной жизни, соответствующая этому возрасту, наполняется существованием темным, бесцветным, без силы, без энергии. Нет в памяти чарующих воспоминаний, нет сильных наставительных примеров в народных преданиях. Пробежите взором все века, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминания, которое бы вас оставило, ни одного памятника, который бы высказал нам протекшее живо, сильно, картинно. Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего. Если ж иногда и принимаем в чем участие, то не от желания, не с целью достигнуть истинного, существенно нужного и приличного нам блага; а по детскому легкомыслию ребенка, который подымается и протягивает руки к гремушке, которую завидит в чужих руках, не понимая ни смысла ее, ни употребления.

Истинное общественное развитие не начиналось еще для народа, если жизнь его не сделалась правильнее, легче, удобнее неопределенной жизни первых годов его существования. Как может процветать общество, которое, даже в отношении к предметам ежедневности, колеблется еще без убеждений, без правил; общество, в котором жизнь еще не составила? Мир нравственный находится здесь в хаотическом брожении, подобном переворотам, которые предшествовали настоящему состоянию планеты. И мы находимся еще в этом положении.

Первые годы нашего существования, проведенные в неподвижном невежестве, не оставили никакого следа на умах наших. Мы не имеем ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль. Разобщенные какою-то странною судьбою от всемирной жизни человечества, мы ничего не извлекли даже из идей, которые сообщаются человечеству преданиями. А на этих-то идеях основывается частная жизнь народов; из них развивается их будущность, их нравственное образование. Чтоб сравниться с прочими образованными народами, нам необходимо переначать для себя снова все воспитание человеческого рода. Для этого перед нами история народов и плоды движения веков. Конечно, велик этот труд, и может быть одно поколение людей не в состоянии совершить его; но прежде всего необходимо узнать: в чем дело, что это за воспитание человеческого рода и какое место занимаем мы в общем порядке мира?

Народы живут только мощными впечатлениями времен прошедших на умы их и соприкосновением с другими народами. Таким образом каждый человек чувствует свое соотношение с целым человечеством. «Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о

предшествовавшем не соединяет настоящего с прошедшим?» Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего. Каждый из нас должен сам связывать разорванную нить семейности, которой мы соединялись с целым человечеством. Нам должно молотами вбивать в голову то, что у других сделалось привычкою, инстинктом. Наши воспоминания не далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает для нас безвозвратно. Все это есть следствие образования совершенно привозного, подражательного. У нас нет развития собственного, самобытного, совершенствования логического. Старые идеи уничтожаются новыми, потому что последние не истекают из первых, а западают к нам бог знает откуда; наши умы не браздятся неизгладимыми следами последовательного движения идей, которое составляет их силу, потому что мы заимствуем идеи уже развитые. Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели. Мы подобны детям, которых не заставляли рассуждать; возмужав, они не имеют ничего собственного; все их знания во внешности их существования; во внешности вся душа их.

Народы существа нравственные, точно так же как и люди. Они образуются веками, как люди годами. Но мы, почти можно сказать, народ исключительный. Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтоб со временем преподать какой-нибудь великий урок миру. Нет никакого сомнения, что это предназначение принесет свою пользу: но кто знает, когда это будет?»

* * *

«Народы Европы, – продолжает Чаадаев, – имеют одну общую физиономию, какой-то отблеск односемейности. Несмотря на разделение их на ветви латинскую и тевтоническую, на южную и северную, между ними есть связь общая, которая соединяет их, связь видимая для всякого, кто углубляется в их общую историю. Давно ли вся Европа называлась «христианством» и это название имело место в ее публичном праве? Но кроме этого общего характера, каждый из них имеет еще свой особенный, придаваемый ему историей и преданиями. И то и другое составляет родовое наследие идей этих народов. Каждое частное лицо пользуется плодами этого наследия; без утомления, без труда, собирает на жизненном пути сведения, рассеянные в обществе, и употребляет их в свою пользу.



Петр Яковлевич Чаадаев

Главное произведение Чаадаева «Философические письма».

Публикация первого из них в журнале «Телескоп» в 1836 году вызвала резкое недовольство властей из-за выраженного в нем горького негодования по поводу «отлученности России от всемирного воспитания человеческого рода» и как следствие – духовного застоя в стране. Журнал был закрыт, издатель Надеждин сослан, а Чаадаев объявлен сумасшедшим. Его труды были запрещены к публикации в России вплоть до окончания Крымской войны, когда политическую реакцию, существовавшую при Николае I, сменила относительная либерализация общественной жизни при Александре II. Но и тогда «Философические письма» Чаадаева печатались лишь в отрывках.

Теперь сравните сами: много ли соберете вы у нас начальных идей, которые каким бы то ни было образом, могли бы руководствовать нас в жизни? Заметьте, что здесь дело не об учении, не о литературе или науке; но просто о соприкосновении умов, об тех идеях, которые овладевают ребенком еще в колыбели, которые окружают его в играх, которые мать вдыхает в него своими ласками, которые в виде различных чувствований проникают в его существо вместе с воздухом, которым он дышит, и образуют его нравственное бытие еще до вступления в мир и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Они развиваются из происшествий, содействовавших образованию общества; они необходимые начала мира общественного. Вот что составляет атмосферу Запада; это более чем история, более чем психология: это физиология европейца. Чем вы замените все это?

Не знаю, можно ли вывести из сказанного что-нибудь совершенно безусловное и основать на нем неперменное правило; но очевидно, какое сильное влияние на дух каждого отдельного лица должно иметь это странное положение народа, по которому он не может остановить своей мысли ни на одном ряде идей, развивавшихся в обществе постепенно одна из другой, по которому он принимал участие в общем движении человеческого разума только слепым, поверхностным и часто дурным подражанием другим нациям. От этого вы найдете, что всем нам недостает некоторого рода основательности, методы, логики. Силлогизм Запада нам неизвестен. В наших лучших головах есть что-то большее, чем неосновательность. Лучшие идеи от недостатка связи и последовательности, как бесплодные призраки, цепенеют в нашем мозгу.

Человек теряется, не находя средств притти в соотношение, связаться с тем, что ему предшествует и что последует; он лишается всякой уверенности, всякой твердости; им не руководствует чувство непрерывного существования, и он заблуждается в мире. Такие потерявшиеся существа встречаются во всех странах; но у нас эта черта общая. Это не та легкомысленность, которою некогда упрекали французов, которая, не отрицая глубины, ни многообъемности ума, зависела только от способности понимать все с чрезвычайною легкостью, что придавало обращению более прелести и любезности: нет! это ветреность жизни без опыта и предвидения; жизни, которая ограничивается эфемерным существованием неделимого, оторванного от своей породы; жизни, которая не заботится ни о славе, ни о распространении каких-либо общих идей или выгод, ни даже о тех семейных, наследственных интересах, о том множестве притязаний и надежд, освященных давностью, которые в обществе, основанном на памяти прошедшего и на понятии будущего, составляют жизнь общественную и жизнь частную.

В наших головах решительно нет ничего общего; все в них частно и к тому еще неверно, неполно. Даже в нашем взгляде я нахожу что-то чрезвычайно неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономиею народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы. Находясь в других странах и в особенности южных, где лица так одушевлены, так говорящи, я сравнивал не раз моих соотечественников с туземцами, и всегда поражала меня эта немота наших лиц.

Чужестранцы ставили нам в достоинство некоторого рода беспечную отважность, которую встречали особенно в низших классах. Но по нескольким отдельным проявлениям народного характера они не могли верно судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, которое иногда придает нам эту смелость, делает нас в то же время неспособными ни к глубокомыслию, ни к постоянству; они не видят, что это равнодушие к материальным опасностям делает нас также равнодушными ко всему хорошему, ко всему дурному, ко всякой истине, ко всякой лжи, и что тем самым уничтожает в нас все сильные возбуждения, которые стремят людей по пути совершенствования; они не видят, что, по милости этой-то беспечной отваги, у нас и в высших классах, к прискорбию, существуют пороки, которые в других странах принадлежат только низшим; не замечают, что, имея некоторые из добродетелей народов юных,

еще необразованных, мы лишены всех достоинств народов зрелых, наслаждающихся высшим просвещением.

Я совсем не хочу сказать, что у нас только пороки, а добродетели у европейцев; избави боже! Но я говорю, что для верного суждения о народах надобно изучить общий дух, их животворящий; ибо не та иди другая черта их характерна, а только этот дух может довести их до совершеннейшего нравственного состояния, до развития бесконечного».

* * *

«Массы находятся под влиянием особенного рода сил, развивающихся в избранных членах общества, – пишет он далее. – Массы сами не думают; посреди их есть мыслители, которые думают за них, возбуждают собирательное разумение нации и заставляют ее двигаться вперед. Между тем как небольшое число мыслит, остальное чувствует, и общее движение проявляется. Это истинно в отношении всех народов, исключая некоторые поколения, у которых человеческого осталось только одно лицо. Первоначальные народы Европы, целты, скандинавы, германцы имели друидов, скальдов, бардов; это были сильные мыслители, разумеется, в своем роде. Посмотрите на народы Северной Америки, истреблением которых так ревностно занимается материальное просвещение Соединенных Штатов: между ними есть люди дивного глубокомыслия. Теперь спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители! Когда и кто думал за нас, кто думает в настоящее время?»

По нашему местному положению между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы соединять в себе два великие начала разума: воображение и рассудок; должны бы совмещать в нашем гражданском образовании историю всего мира. Но не таково предназначение, павшее на нашу долю. Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него; не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разума, и исказили все, что сообщило нам это совершенствование. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины не возникло посреди нас. Мы ничего не выдумали сами, и из всего, что выдумано другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь.

Странное дело! Даже в мире наук, который обнимает все, наша история разобщена от всего, ничего не объясняет, ничего не доказывает. Если б орды варваров, возмущивших мир, не прошли, прежде нежели наводнили Запад, страны, нами обитаемой, мы не доставили бы и одной главы для всемирной истории. Чтоб обратить на себя внимание, мы должны были распространиться от Берингова пролива до Одера. Некогда великий царь хотел нас образовать и, чтоб заохотить к просвещению, бросил нам мантию цивилизации; мы подняли мантию, но не коснулись просвещения. В другой раз другой великий государь приобщил нас своему великому посланию, проведши победителями с одного края Европы на другой; мы прошли просвещеннейшие страны света и что же принесли домой? Одни дурные понятия, гибельные заблуждения, которые отодвинули нас назад еще на полстолетие. Не знаю, в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное совершенствованию.

Повторю еще: мы жили, мы живем, как великий урок для отдаленных потомств, которые воспользуются им непременно, но в настоящем времени, что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разума. Для меня нет ничего удивительнее этой пустоты и разобщенности нашего существования. Конечно, в этом виновата отчасти какая-то непостижимая судьба; но не правы и люди, которых содействие во всем, что совершается в нравственном мире, неизбежно. Заглянем еще раз в историю; она объясняет бытие народов лучше всего.

Что делали мы в то время, как из жестокой борьбы варварства северных народов с высокою мыслию религии возникало величественное здание нового образования? Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения у растленной презираемой всеми народами Византии. Мелкая суетность только что оторвала ее от всемирного братства: и мы приняли от нее идею, искаженную человеческою страстию. В это время животворящее начало единства одушевляло всю Европу. Все истекало там из этого начала; все сосредоточивалось; всякое умственное движение силилось объединить человеческую мысль; всякое побуждение проявлялось могучею потребностью отыскать одну всемирную идею; это самое и составляет дух новейших времен. Чуждые этому дивному началу, мы сделались добычею завоевателей. Свергнув иго чужеземное, мы могли бы воспользоваться идеями, которые развились между тем у наших западных братии, но мы были оторваны от общего семейства.

Сколько светлых лучей прорезало в это время мрак, покрывавший всю Европу! Большая часть познаний, которыми ум человеческий теперь гордится, были уже предчувствуемы тогдашними умами; характер новейшего общества был уже определен; миру христианскому недоставало только форм прекрасного, и он отыскал их, обратив взоры на древности язычества. Уединившись в своих пустынях, мы не видали ничего происходившего в Европе. Мы не вмешивались в великое дело мира. Мы остались чужды высоким доблестям, которыми религия озарила новейшие поколения и которые в глазах здравого смысла возвышают их над древними народами, так же как эти последние возвышаются над готтентотами и лапландцами. В нас не развились эти новые силы, которыми она обогатила человеческое разумение, эта кротость нравов, потерявших свое первобытное зверство от покорности власти безоружной. Несмотря на название христиан, мы не тронулись с места, тогда как западное христианство величественно шло по пути, начертанному его божественным основателем. Мир пересоздался, а мы прозябали в наших лачугах из бревен и глины. Коротко, не для нас совершались новые судьбы человечества; не для нас, христиан, зрели плоды христианства».

Далее автор развивает мысль о благотворных плодах христианства и продолжает:

«Но вы вообразите: разве мы не христиане, разве образование возможно только по образцу европейскому? Без сомнения, мы христиане; но разве абиссинцы не христиане же? Разумеется, можно образоваться отлично от Европы; разве японцы не образованы и, если верить одному из наших соотечественников, даже более нас? Но неужели вы думаете, что христианство абиссинцев и образованность японцев могут воссоздать тот порядок, о котором я говорил сию минуту, порядок, который составляет конечное предназначение человечества? Неужели вы думаете, что эти жалкие отклонения от божественных и человеческих истин низведут небо на землю?»

* * *

Мы выписали почти половину статьи. Ее окончание посвящено почти исключительно развитию размышлений благочестивого направления, вытекающих из страниц, представленных нами читателю. Имени автора под статью не выставлено; зато любопытно обозначение местности, в которой она написана: Некрополис, 1829, декабря 1.

«Некрополис» – «город мертвых»: автор живет как бы среди мертвых людей.

Читателю известно, что напечатание перевода письма Чаадаева имело своим последствием составление акта о сумасшествии автора. Записка, которую теперь мы печатаем, имеет заглавие *Apologie d'un fou* – «Апология сумасшедшего», выставленное на нашей. Записка эта на французском языке, подобно самому письму, результаты которого были причиною ее составления. Мы печатаем ее в переводе, который был доставлен нам вместе с подлинником; мы исправили язык перевода, очень верного и близкого к подлиннику. «Апология сумасшедшего»

по нашему списку произведение не законченное: Чаадаев, как видно, вздумал было написать ряд записок в свое оправдание и вполне написал первую из них, которая представляется, как увидит читатель, цельным и законченным сочинением. Но в доставленном к нам списке над этою запискою поставлена под общим заглавием *Apologie d'un fou* цифра 1, а по ее окончании следует цифра 2 и потом несколько строк, составляющих всего один период, которым должна была начинаться вторая записка или глава. Вот перевод этих строк:

«Есть факт, верховно владычествующий над нашим развитием в ряду веков, проходящий через всю нашу историю, совмещающий в себе, так сказать, всю ее философию, проявляющийся во все эпохи нашей общественной жизни и определяющий характер их, служащих существенным элементом нашего политического величия и с тем вместе причиною нашего умственного бессилия; этот факт – географическое положение».

Оставляя эти строки, будем говорить о первой записке или главе. Заглавие показывает цель, с которою она составлена: Чаадаев хочет оправдать свое письмо, за которое признан был сумасшедшим. Для кого именно составлена записка, в ней самой нет прямых указаний; видно только, что Чаадаев обращается к целому кружку или классу людей из числа лиц, негодовавших на его напечатанное письмо; видно также, что от мнения этих лиц более или менее зависела его судьба. На доставленном к нам списке выставлен 1836 год – тот самый, когда постиг его случай, бывший причиною составления записки. Время и цель составления записки отразились на некоторых местах ее; мы выпускаем из нашего перевода эти места, которые не могут считаться достоверным выражением мнений автора, имея внешнее назначение: просим читателя верить, что мы не поступили неуважительно к автору или легкомысленно, когда выпустили из перевода эти места, которые могут быть разъяснены в должном свете только в биографии Чаадаева. Свойство комментариев, которыми сопровождаем мы печатаемую нами записку, может достаточно свидетельствовать, что мы не могли руководиться никакими соображениями, кроме того уважения, какого достойно имя Чаадаева. Мы обозначаем точками места пропусков.

После общего заглавия *Apologie d'un fou* следует общий эпиграф, взятый из Кольриджа:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.